

ПХЕНЦ

1

Сегодня снова встретил его в прачечной. Он сделал вид, что не замечает меня, всецело занятый своим грязным бельем.

Сперва шли простыни, которыми здесь пользуются по соображениям гигиены. На одной стороне такой простыни крохотными буквами вышивают слово «ноги». Это придумано для того, чтобы предостеречь: человек не должен касаться губами зараженного места, о которое еще вчера терлись его ступни.

Удар ногою тоже почитается более оскорбительным действием, чем удар рукою, и не только потому, что нога бьет сильнее. Вероятно, в этом неравенстве дает себя знать неизжитое христианство. Нога должна быть греховнее всего остального тела по той простой причине, что она дальше от неба. Лишь к половым частям наблюдается худшее отношение, и тут что-то скрыто.

Потом шли наволочки с темными пролежнями в середине. Потом полотенца, которые в отличие от наволочек быстрее пачкаются по краям, и, наконец, разноцветные комья нательного белья.

В эту минуту он принялся метать свои вещи с такой скоростью, что я не успел их как следует разглядеть. Быть может, он желал соблудности какой-то секрет, а может, как все люди, стыдился демонстрировать предметы, непосредственно прилегающие к ногам.

Но мне показалось подозрительным то обстоятельство, что он сдает в стирку заношенное белье. Обыкновенные горбуны чистоплотны. Они опасаются своей одеждой вызвать дополнительное отвращение. А этот, вопреки ожиданию, был неряшлив, как будто он — не горбун.

Даже приемщица белья, ко всему привыкшая баба, для которой не в диковинку следы самых редкостных соков, не выдержала и сказала ему довольно-таки громко:

— Что это вы, гражданин, мне в морду тычете? Не умеете спать аккуратно — сами стирайте!

Он молча расплатился и убежал. Я не последовал за ним, чтобы не привлекать чужое внимание.

Дома было обычно. Едва я вошел к себе, появилась Вероника. Она, потупив глаза, предложила вместе поужинать. Мне было не с руки отказывать этой девушке. Она единственная из всей квартиры относится ко мне сносно. Жаль, что ее сочувствие зиждется на сексуальной основе. Сегодня я окончательно мог в том убедиться.

— Как поживает Кострицкая? — спросил я Веронику, стараясь направить беседу в сторону общих врагов.

— Ах, Андрей Казимирович, она опять угрожала.

— В чем дело?

— Да все то же. Свет в ванной комнате и забрызган пол. Кострицкая заявила, что пожалуется управляющему.

Это известие вывело меня из себя. Я меньше других пользуюсь канализацией. В кухню почти не вхожу. Могу я компенсировать кухню за счет ванной комнаты?

— Ну и пусть, — ответил я резко. — Она сама жжет свет киловаттами. А ее дети разбили мою бутылку. Пусть придет управдом.

Но я понимал, что призыв к вмешательству власти был бы с моей стороны чистой воды авантюрой. К чему лишний раз обращать на себя внимание?

— Успокойтесь, Андрей Казимирович, — сказала Вероника. — Все нелады с соседями я беру на себя. Успокойтесь, прошу вас.

Она протянула руку, чтобы потрогать мне лоб. Я успел отшатнуться.

— Нет-нет, здоров и никакой температуры. Давайте ужинать.

На столе дымилась и скверно пахла еда. Меня всегда поражал садизм кулинарии. Будущих цыплят поедают в жидком виде. Свиные внутренности набиваются собственным мясом. Кишка, проглотившая себя и облитая куриными выкидышами, — вот что такое на самом деле яичница с колбасой.

Еще безжалостней покупают с пшеницей: режут, бьют, растирают в пыль. Не по тому ли мука и мука разнятся лишь ударением?

— Да вы кушайте, Андрей Казимирович, — уговаривает Вероника. — Не расстраивайтесь, пожалуйста. Всю вину я беру на себя.

А что если человека приготовить тем же порядком? Взять какого-нибудь инженера или писателя, нашпиговать его его же мозгом, а в поджаренную ноздрю вставить фиалку — и подать сослуживцам к обеду? Нет, муки Христа, Яна Гуса и Стеньки Разина — сушая безделица рядом с терзаньями рыбы, выдернутой на крючке из воды. Те по крайней мере ведали — за что.

— Скажите, Андрей Казимирвич, вы очень одиноки? — спросила Вероника, внося в комнату чайник.

Пока она ходила за чайником, я вывалил свое блюдо в газетку.

У вас были друзья,—
она положила сахар,
— дети,—
еще ложка сахару,—
— любимая женщина?..—
и ну размешивать, размешивать.

По всему было заметно, что Вероника волнуется.

— Друзей мне заменяете вы,— начал я осторожно.— А что касается женщин, то вы же видите: я стар и горбат. Стар и горбат,— повторил я с неумолимой настойчивостью.

Я честно желал предотвратить признание: зачем оно мне, когда и без этого трудно? Стоит ли портить наш военный союз против злых соседей, возбуждать к себе повышенный интерес не нашедшей применения девушки?

Чтобы избежать беды, я был готов прикинуться алкоголиком. Или преступником. А, может, лучше умалишенным, педерастом наконец? Но я боялся: каждое из этих качеств могло придать моей особе опасный, интригующий блеск.

Мне оставалось акцентировать мой горб, возраст и мизерную зарплату, мою тихую профессию счетовода, отнимающую массу времени, и что такому, как я, горбуну под стать соответствующая горбунья, а нормальной красивой женщине нужен симметричный мужчина.

— Нет, вы — слишком благородны,— решила Вероника.— Вы считаете себя калекой и боитесь быть в тягость. Не подумайте, что это жалость с моей стороны. Просто мне нравятся кактусы, а вы похожи на кактус. Вон их сколько расплодилось на вашем подоконнике!

К моей руке притронулись ее горячие пальцы. Я дернулся, как от ожога.

— Вы замерзли, вы больны? — участливо вопрошала Вероника, озадаченная температурой моего тела.

Это было слишком. Я сослался на мигрень и просил ее покинуть меня.

— До завтра,— сказала Вероника и помахала ручкой, как маленькая.— А завтра вы мне подарите кактус. Непременно.

Эта смиренная девушка говорила со мной тоном главного бухгалтера. Она призналась в любви и требовала воздаяния.

Где это я читал, что влюбленные люди уподобляются покорным рабам? Ничего подобного. Стоит человеку полюбить, и он уже чувствует себя господином, имеющим право распоряжаться теми, кто его недостаточно любит. Как бы мне хотелось, чтобы меня никто не любил!

Оставшись один, взялся поливать кактусы. Я кормил их понемногу из эмалированной кружки — моих горбатеньких деток — и отдыхал.

Было два часа ночи, когда, изнемогая от голода, я прокрался на цыпочках по темному коридору в ванную комнату. Уж там я поужинал на славу!

Очень это трудно кушать один раз в сутки.

2

После того вечера прошло две недели. Вероника мне объявила, что за нею ухаживают: один лейтенант и один артист из театра Станиславского. Это ей не мешало оказывать мне предпочтение. Она грозила постричься наголо, с тем чтобы я не смел говорить больше о ее красоте, которой глупо жертвовать ради старика и уroda. Наконец, ей вздумалось шпионить за мной, подстергая по пути в ванную.

— Опрятность украшает горбунов,— таков был мой стереотипный ответ на ее расспросы, почему я часто купаюсь.

На всякий случай я стал закладывать фанеркой матовое стекло между ванной и уборной. Прежде чем раздеться, я всегда проверял запоры. Мне было не по себе при мысли, что меня наблюдают.

Вчера утром я постучался к ней в комнату, чтобы набрать чернил в самописку и продолжить мой нерегулярный дневник. Вероника еще не вставала и, лежа в постели, читала «Четырех мушкетеров».

— Вы опоздаете на лекцию,— сказал я, вежливо поздоровавшись.

Она закрыла книгу и сказала:

— А вы знаете, вся квартира считает меня вашей любовницей.

Я же ничего не сказал, и тогда случилось ужасное. Вероника сверкнула глазами и, откинув одеяло, гневно уставилась на меня всем своим неприкрытым телом:

— Гляньте, Андрей Казимирович,— от чего вы отказались!

Лет пятнадцать назад мне довелось познакомиться с учебником по анатомии. Желая быть в курсе дел, я внимательно изучил все картинки и диаграммы. Затем в Парке культуры и отдыха имени Горького я имел возможность наблюдать купающихся в реке мальчишек. Но видеть живьем раздетую женщину, да еще на близком расстоянии, мне раньше не приходилось.

Повторяю, это — ужасно. Она вся оказалась такого же неестественно-белого цвета, как ее шея, лицо и руки. Спереди болталась пара белых грудей. Я принял их вначале за вторичные руки, ампутированные выше локтя. Но каждая заканчивалась круглой присоской, похожей на кнопку звонка.

А дальше — до самых ног — все свободное место занимал шаровидный живот. Здесь собирается в одну кучу проглоченная за день еда. Нижняя его половина, будто голова, поросла кудрявыми волосами.

Меня издавна волновала проблема пола, играющая первостепенную роль в их умственной и нравственной жизни. Должно быть, в целях безопасности она окутана с древних времен покровом непроницаемой тайны. Даже в учебнике по анатомии об этом предмете ничего не говорится или сказано туманно и вскользь, так, чтобы не догадались.

И теперь, поборов оторопь, я решил воспользоваться моментом и заглянул туда, где — как написано в учебнике — помещается детородный аппарат, выстреливающий наподобие катапульти уже готовых младенцев.

Там я мельком увидел что-то похожее на лицо человека. Только это, как мне показалось, было не женское, а мужское лицо, пожилое, небритое, с оскаленными зубами.

Голодный злой мужчина обитал у нее между ног. Вероятно, он храпел по ночам и сквернословил от скуки. Должно быть, отсюда происходит двуличие женской натуры, про которое метко сказал поэт Лермонтов: «прекрасна, как ангел небесный, как демон, коварна и зла».

Я не успел разобраться в этом предмете, потому что Вероника вдруг встрепенулась и сказала:

— Ну!

Она закрывала глаза и открывала рот, напоминая рыбу, вытянутую из воды. Она билась на постели — большая белая рыба — беспомощно и безрезультатно, а ее тело тем временем покрывалось голубыми пупырышками.

— Простите, Вероника Григорьевна,— сказал я, робея.— Простите,— сказал я.— Но мне пора на службу.

И стараясь не топтать и не оглядываться, я удалился.

На улице шел дождь, а я не спешил: в нашем учреждении был санитарный день. А я, освобожденный от Вероники, под видом государственной службы (сметы, никотин, главный бухгалтер Зыков, обезумевшие машинистки — за все 650 рублей в месяц), я мог позволить себе такую роскошь, как прогулка по свежему воздуху в сырую погоду.

Я выбрал дырявый водосток и подставил себя под струю. Она текла прямо за воротник — прохладная и вкусная,— и через какие-нибудь три минуты я был достаточно мокр.

Но прохожие, спешащие мимо, сплошь в зонтиках и в микропористых подметках, искоса поглядывали на меня, заинтересованные этим поступком. Мне пришлось изменить позицию и прогуливаться по лужам. Мои ботинки хорошо промокали. Хотя бы снизу я имел удовольствие.

— Ах, Вероника, Вероника,— повторял я, негодуя.— Зачем вы были так жестоки, что полюбили меня? Зачем вы чуточку не постыдились своего внешнего вида и вели себя столь откровенно, столь беспардонно?

Ведь стыд у человека основное достоинство. Это смутная догадка о собственной неисправимой наружности, инстинктивный страх перед тем, что скрыто у него под сукном. Только стыд и еще раз стыд может их несколько облагородить и сделать если не прекраснее, то скромнее.

Конечно, попав сюда, я следовал общей моде. Блюди законы той страны, в которой вынужден жить. К тому же постоянная опасность быть пойманным и уличенным заставляла меня натягивать поверх тела все эти маскарадные тряпки.

Но будь я на их месте, я не только бы из костюма, я бы из шубы не вылезал ни днем, ни ночью. Я бы сделал себе пластическую операцию, чтобы ноги покороче и хоть горб на спине. Горбуны здесь все-таки приличнее остальных, хотя тоже уроды.

В грустном настроении пошел я на улицу Герцена. Против консерватории снимал комнату в полуподвале тот самый горбун. Уже полтора месяца он был у меня на примете — грациозный, изогнутый, непохожий на человека и чем-то напоминающий мне мою невозвратимую юность.

Три раза подряд я видел его в прачечной и один раз в цветочном магазине, когда покупал кактус. По бельевой квитанции, которую он предъявлял, мне посчастливилось узнать его домашний адрес.

Наступило время поставить точку над *i*.

Я говорил себе, что этого быть не может, что все погибли и лишь я один уцелел наподобие Робинзона Крузо. Я же сам, своими руками ликвидировал все, что осталось после аварии, и других кроме меня здесь нет.

А вдруг он послан за мной? И под видом горбуна, скрываясь... Проявили заботу! Спихватились, пустились на розыски!

Откуда им знать? Через тридцать два года? Даром что по местному времени. Живой и здоровый. Не фунт изюма.

Но почему же сюда? Вот именно. Никто не собирался. Совсем с другой стороны. Так не бывает. Сбились с пути. Куды Макар не гонял. Семь с половиной. Вот и влопались.

Ну, а если случайно? Такой же в точности ляпсус. Уклонясь от курса и зимнего расписания. Первое что попало. Бывают же совпадения? Тютелька в тютельку. Нога не ступала. Ну, мало ли? Под видом горбуна. Одинаковый. Хотя бы один — одинаковый.

Дверь открыла дама, похожая на Кострицкую. Но его Кострицкая была крупнее и старше. От нее исходил удештеренный запах сирени. Это были духи.

— Леопольд скоро вернется. Проходите, пожалуйста.

Из глубины коридора лаяла невидимая собака. Но броситься на меня не решалась. Но я уже имел неприятности с эти видом животных.

— Что вы! Она не кусается. Никса — тубо, силянс!

Пока мы вежливо препирались, а животное все свирепело, из боковых дверей возникло три головы. Они разглядывали меня с интересом и поносили собаку. Получился ужасный шум.

В комнате, куда я с большим риском проник, имелся один малолетний ребенок, вооруженный саблей. При виде нас он потребовал клюкву в сахаре и громко зеревсл, гримасничая и вертя поясницей.

— Сластена. Весь в меня, — пояснила Кострицкая. — Будешь канючить — дядя тебя съест.

Чтобы сделать хозяйке приятное, я сказал шутливо, что пью вместо супа подогретую детскую кровь. Ребенок моментально стих, бросил саблю и забился в дальний угол, не сводя с меня глаз, полных звериного страха.

— Похож на Леопольда? — спросила Кострицкая как бы невзначай, но с хриплой нежностью в голосе.

Я сделал вид, что верю ее намекам.

Меня качало от спертого воздуха, приправленного парами сирени. Кожа, раздраженная запахом, в нескольких местах воспалилась. Была опасность, что у меня на лице проступят зеленые пятна.

А в коридоре злобная Никса гремела по паркету когтями и принохивалась к моим следам, звонко щелкая носом. Возбужденные жилички переговаривались между собой полупшепотом, не подозревая о моей повышенной акустической восприимчивости.

— Видать, брат Леопольду Сергеичу...

— Нет, вы напрасно, наш горбунчик рядом с этим просто вылитый Пушкин.

— Не приведи Господи, приснится такое ночью...

— На него даже смотреть неудобно...

Все это было прервано появлением Леопольда. Помню, мне понравилось, как он — с места в карьер — повел свою роль, классическую роль горбуна, встретившего в присутствии посторонних лиц себе подобного монстра.

— А! Коллега по несчастью! С кем имею честь? Чему обязан?..

То была имитация тончайшей психологической паутины — гордости, защищенной глумлением, и стыда, прикрытого балаганом. Он садился на стулья, как всадник, обхватив донце ногами, вскакивал, снова садился — задом наперед, и положив голову на спинку стула, корчил дикие рожи и беспрерывно двигал плечами, будто щупал свой горб, возвышавшийся над ним, как рюкзак.

— Так-так, Андрей Казимирович, значит. А меня, как это ни смешно, зовут Леопольдом Сергеичем. И я, как видите, тоже слегка горбоват.

Меня восхищала его игра в утрированного человека, это искусство, тем более похожее на правду, чем оно было нелепее, и я с тихой грустью сознавал его жизненное превосходство и свое неумение войти, подобно ему, в единственно возможную для нас на земле форму — форму горбатых уродов и уязвленных самолюбцев.

Но дело делом, и я дал понять, что желаю беседовать кон-фи-ден-ци-аль-но.

— Мне нетрудно уйти,— обиженно сказала Кострицкая и вышла, обдав меня на прощанье жгучим своим ароматом.

Я же подумал ей в отместку, что она пропитана этим запахом до самого позвоночника. Даже экскременты у нее пахнут духами, а не вареным картофелем и домашним уютом, как это обыкновенно бывает. А мочится она чистейшим одеколоном, и в такой обстановке бедный Леопольд скоро завянет.

— Вы давно оттуда? — спросил я напрямик, когда мы остались одни и только оцепенелый ребенок сидел в дальнем углу с тупым загадочным взглядом, изображающим ужас.

— Откуда — оттуда? — уклонился он от ответа.

Вместе с уходом хозяйки его наигранную веселость как рукой сняло. Исчезла вся эта шутовская амбиция, присущая большинству горбунов, которые достаточно умны, чтобы прятать свою спину, и достаточно горды, чтобы от нее не страдать. Но мне казалось, что он еще не пришел в себя и по инерции, с усталым видом продолжает притворяться не тем, кем он был на самом деле.

— Бросьте! — сказал я тихо.— Я узнал вас с первого взгляда. Мы же с вами из одних мест. Так сказать, родственники. ПХЕНЦ! ПХЕНЦ! — напомнил я шепотом священное для нас обоих имя.

— Как вы сказали?.. Знаете, вы мне тоже показались немного знакомы. Где же я мог вас видеть?

Он тер лоб, морщился, кривил губы. Его лицо имело почти человеческую подвижность, и я вновь позабывал этой поразительной тренировочной технике, хотя осторожные повадки его начинали меня раздражать.

— Ба! — вскричал он, продолжая валять дурака,— вы в системе Главбумсбыта не служили? Там директором — в сорок четвертом — Яков Соломонович Зак. Симпатичный такой еврейчик...

— Никакого Зака я не знаю,— ответил я сухо.— Но я хорошо знаю, что вы, Леопольд Сергеевич, вовсе не Леопольд Сергеевич, и никакой вы не горбун, хоть тычете всюду свой горб. И вообще, довольно кривляний. В конце концов я ничуть не меньше рискую, чем рискуете вы.

Он буквально осатанел:

— Как вы смеете,— говорит,— мне указывать, кто я такой? Испортить мои отношения с хозяйкой, да еще грубить! Да вы найдите,— говорит,— сначала такую роскошную женщину, а потом рассуждайте о моем физическом недостатке. Вы — горбатее меня. Слышите? Вы — еще гнуснее. Урод! Горбун! Калека несчастный!

Вдруг он рассмеялся и хлопнул себя по макушке:

— Вспомнил! Я вас видал в прачечной. Мы с вами только тем и похожи, что сдаем белье в одну общую стирку.

На этот раз я поверил в его искренность. Нет, он действительно мнил себя Леопольдом Сергеевичем. Он слишком вошел в роль, одичал, очеловечился, чересчур уподобился окружающей обстановке и поддался чужому влиянию. Он забыл свое прежнее имя, предал далекую родину, и, если ему не помочь, он в два счета погибнет.

Я схватил его за плечи и осторожно потряс. Я тряс его и уговаривал дружески, по-хорошему — вспомнить, понатужиться и вспомнить, вернуться к себе самому. И зачем ему эта источающая ядовитый запах Кострицкая? Даже среди людей скотоложство не пользуется авторитетом. Тем более — измена родине, хоть не по злему умыслу, а по обыкновенной забывчивости.

— ПХЕНЦ! ПХЕНЦ — твердил я ему и повторял другие слова, какие сам еще помнил.

Вдруг сквозь его бостоновый пиджак до меня донеслась — неизвестно откуда взявшаяся — теплота. Все жарче и жарче делались его плечи, такие же горячие, как рука Вероники, как тысячи других горячих рук, с которыми я предпочитал не здороваться за руку.

— Простите,— сказал я и разжал пальцы.— Мне кажется, вышла ошибка. Досадное недоразумение. Я, видите ли,— как бы вам это объяснить? — подвержен нервным припадкам...

Тут я услышал страшный грохот и обернулся. Позади, на почтительном расстоянии, скакал ребенок, угрожая саблей.

— Пусти Леопольда! — кричал он.— Эй ты! Пусти Леопольда! Его моя мама любит. Он — мой папа, мой, а не твой Леопольд!

Сомнений быть не могло. Я обознался. Это был человек, самый нормальный человек, хоть и горбатый.

3

С каждым днем мне становяся хуже. Наступила зима — холоднейшее время года в этой части света. Не вылезая из дома.

Все-таки грех жаловаться. После ноябрьских праздников я вышел на пенсию. Маловато, но так спокойнее. А то — что бы я делал во время последней болезни? Бегать на службу у меня не хватило бы сил, а доставать бюллетень — хлопотно и опасно. Не подвергаться же на старости лет медицинскому освидетельствованию? Это бы меня погубило.

Иногда задаю себе один коварный вопрос: почему бы мне в конце концов не легализовать свое положение? Зачем тридцать лет, как преступник, я выдавал себя за другого? Андрей Казимирович Сушинский. Полуполяк, полурусский. 61 год. Инвалид. Беспартийный. Холост. Родственников и детей не имеет. За границей никогда не бывал. Родился в Иркутске. Отец — мелкий служащий. Мать — домохозяйка. Умерли от холеры в 1901 году. Всё!

А что если пойти в милицию, извиниться, рассказать попросу и по порядку, объяснить?

Так, мол, и так. Сами видите — существо из другого мира. Не из Африки, не из Индии и даже не с Марса или какой-нибудь вашей Венеры, а еще дальше, еще недоступнее. У вас даже названий таких нет, да и я сам — разложите передо мною все имеющиеся в наличии звездные карты и планы — не найду, честное слово, не найду, куда же задевалась та великолепная точка, из которой я родом.

Во-первых, не специалист я в астрономическом деле. Ехал — пока везли. Во-вторых, совсем иная картина, и не узнать мне родимого неба по вашим книгам-бумагам. Я и сейчас — выйду ночью на улицу, подыму голову и вижу: опять не то! И в каком направлении мне надо грустить, тоже неизвестно. Может, отсюда не видать не только моей земли, но и моего солнца. Может, оно по ту сторону Галактики числится. Не разобрать!

Не подумайте, пожалуйста, что я прибыл сюда с какой-нибудь задней целью. Переселение народов, борьба миров, пятое-десятое. Я вообще не военный, не ученый, не путешественник, и профессия моя — счетовод, здешняя, разумеется, о старой лучше не поминать — все равно ничего не пойдем.

И лететь мы ни в какие пространства не собирались, а просто ехали, выражаясь примитивно, на курорт. А по дороге — происшествие, ну, скажем, метеорит, чтобы было доступнее, ну, падаем, лишенные поддержки, неизвестно куда, падаем семь с половиной месяцев — только не ваших месяцев, а наших — и в силу чистой случайности попадаем сюда.

Очнулся, гляжу — попутчики мои погибли. Похоронил их, как положено, и начал приспособляться.

А вокруг — экзотика, невнятица. В небе луна горит, большущая, желтая, но зато в единственном числе. Воздух — не тот, свет — не тот, тяготение всякое, давление тоже не очень соответствуют. Да что говорить! Какая-нибудь элементарная елка в моем нездешнем восприятии — все равно что для вас — дикообраз.

Куда деваться? Пить-есть надо. Конечно — не человек, не зверь, и, пожалуй, склонен скорее всего — из того, что у вас имеется, — к растительному царству, но тоже обладаю своими первичными потребностями. Мне, в первую очередь, вода нужна, за неимением лучшей влаги, и желательна — определенной температуры, да чтоб к воде — время от времени — недостающие соли. К тому же чувствую в окружающей атмосфере возрастающее похолодание. А вы сами знаете, какие в Сибири морозы.

Делать нечего, пришлось мне леса покинуть. Я уже к людям из кустиков несколько дней присматривался. Сразу понял, что разумные твари, но боялся в первый момент, что съедят. Задрапировался кое-какими тряпками (тогда и состоялась моя первая кража, извинительная в создавшейся ситуации) и выхожу из кустиков с приветливым видом.

Якуты — народ гостеприимный, доверчивый. У них я и освоил простейшие человеческие навыки, а потом перебрался в более цивилизованные края. Изучил язык, постиг науки, преподавал арифметику в средней школе города Иркутска. Одно время в Крыму обитал, но вскоре уехал оттуда по климатическим причинам: летом припекает излишне, а зимой — недостаточно, и все равно нужна квартира с паровым отоплением. А эти удобства в 20-е годы были там в редкость и стоили большие деньги — не по карману. Вот и поселился в Москве... Вот и живу...

Кому угодно рассказывай эту печальную повесть, в самой что ни на есть популярной форме — ведь не поверят, ни за что не поверят. Если б я хоть плакать мог по мере своего рассказа, а то смеяться кое-как научился, а плакать — не умею. Сочтут безумцем, фантазером, да еще к судебной ответственности могут привлечь: фальшивый паспорт, подделка подписей и печатей и прочие незаконные действия.

А если даже — вопреки рассудку — поверят, — будет еще хуже.

Съедутся со всех концов академикки всех академий — астрономы, агрономы, физики, экономисты, геологи, филологи, психологи, биологи, микробиологи, химики и биохимики, изучат до последнего пятнышка, ничего не забудут. И все только спрашивают, выпытывают, рассматривают, извлекают.

В миллионных тиражах разойдутся обо мне диссертации, кинофильмы и поэмы. Дамы станут красить губы зеленой помадой и заказывать шляпки в виде кактуса или по крайней мере фикуса. И все горбуны — несколько лет — будут пользоваться у женщин колоссальным успехом.

Названием моей родины назовут автомобильные марки, а моим именем — сотни новорожденных младенцев, не говоря уже об улицах и собаках. Я стану известен как Лев Толстой, как Гулливер и Геркулес. И Галилео Галилей.

Но при всем этом общенародном внимании к моей скромной особе никто ничего не поймет. Как же понять меня им, если сам я на их языке никак не могу выразить свою бесчеловечную сущность. Все верчусь вокруг да около и метафорами пробавляюсь, а как дойдет дело до главного — смолкаю. И только вижу плотное, низкое — ГОГРЫ, слышу быстрое — ВЗГЛЯГУ и неопишимо прекрасное ПХЕНЦ осеняет мой ствол. Все меньше и меньше этих слов остается в увядающей памяти. Звуками человеческой речи лишь приблизительно можно передать их конструкцию. И если обступят лингвисты и спросят, что это такое, я скажу только: ГОГРЫ ТУЖЕРОСКИП и разведу руками.

Нет, уж лучше буду влачить одинокое инкогнито. Раз появился такой специфический, так и существуй незаметно. И незаметно умри.

А то, когда я умру, — а я скоро умру, — они заспиртуют меня в большую стеклянную банку и выставят на обозрение в зоологическом музее. И проходя вереницами, начнут содрогаться от страха и, чтоб подбодрить себя, станут смеяться нахально, оттопыривать брезгливые губы: «Ах, какой ненормальный, какой некрасивый ублюдок!»

А я не ублюдок! Если просто другой, так уж сразу ругаться? Нечего своими уродствами измерять мою красоту. Я красивее вас и нормальнее. И всякий раз как гляжу на себя, наглядно в том убеждаюсь.

Перед тем, как мне заболеть, сломалась ванна. Я узнал о несчастье поздно вечером и понял, что это Кострицкая, чтобы мне досадить. От бедной Вероники помощи не ожидалось. Вероника обиделась на меня после того инцидента, когда она предложила самое лучшее, с человеческой точки зрения, что у нее в запасе имелось, а я вместо этого пошел гулять.

Теперь — сквозь стенку — до меня иногда долетали ее воздушные поцелуи с одним актером из театра Станиславского, с которым они поженились. Я был искренне рад за нее и даже послал к свадьбе анонимный торт за 16 рублей с ее инициалами и вензелями, выполненными шоколадом.

Но есть мне хотелось невероятно, а ванну повредила Кострицкая, чтобы меня погубить, и дырку, из которой струится вода, — в ожидании починки — забили деревянной пробкой, и вода не текла. Поэтому, когда все улеглись, и с этажа, что надо мной, и с этажа, что подо мной, а также с боков донесся умеренный храп, я снял с гвоздя Вероникино корыто, которое висит в нашей уборной среди других соседских корыт. Оно гремело, как гром, пока я волок его по коридору, и в нижнем этаже, под полом, кто-то перестал храпеть. Но я довел свой труд до конца, вскипятил чайник на кухне, набрал ведро холодной воды и все это снес к себе в комнату, и заперся на задвижку. А в замочную скважину сунул ключ.

Как приятно скинуть одежды, снять парик, оторвать ушные раковины из настоящей гуттаперчи и отстегнуть ремни, стягивающие спину и грудь. Мое тело раскрылось, точно пальма, принесенная в свернутом виде из магазина. Все члены, затекшие за день, ожили и заиграли.

Я установился в корыте, одной рукою схватил губку, чтобы размазывать воду по всем сухим местам, другой — чайник. А в третью руку взял кружку с холодной водой и, добавив туда кипяточку, попробовал оставшейся четвертой рукой, не слишком ли горячо получилось. До чего удобно!

Кожа хорошо всасывала драгоценную жидкость, льющуюся на меня с высоты из эмалированной кружки, и, утолив первый голод, я решил осмотреть себя повнимательнее, чтобы смыть нездоровую слизь, выступившую из пор и застывшую кое-где сухими лиловыми сгустками. Правда, мои глаза на руках и ногах, на темени и на затылке начали заметно слабеть, скрытые в дневное время жесткой одеждой и накладной шевелюрой. Один глаз ослеп еще в 34 году, натертый правым ботинком. Было трудно с должной тщательностью произвести осмотр.

Но я вертел головой, не ограничиваясь полукружием — жалкой ставосьмидесятиградусной нормой, отпущенной человеческой шее, я заморгал всеми глазами, какие были в сохранности, разгоняя усталость и мрак, и мне удалось увидеть себя со всех сторон — сразу в нескольких ракурсах. Какое это увлекательное зрелище, к сожалению, теперь доступное мне лишь в редкие ночные часы. Стоит вздеть руку, и видишь себя с потолка, так сказать, возвышаясь и свешиваясь над собою. И в то же самое время — остальными глазами — не упускать из виду низ, тыл и перед — все свое ветвистое и раскидистое тело.

Может быть, не живи я на чужбине тридцать два года, мне бы и в голову не пришло любоваться своею внешностью. Но здесь я единственный образчик той утраченной гармонической красоты, что зовется моею родиной. Что же мне делать еще на земле, если не восхищаться собой?

Пусть моя задняя рука скрючилась от постоянной необходимости изображать человеческий горб! Пусть на моей передней руке, искалеченной ремнями, уже отсохло два пальца, а мое старое тело потеряло прежнюю гибкость! Все равно, я красив! пропорционален! изящен! вопреки утверждениям всех завистников и критиканов.

Так рассуждал я, поливая себя из кружки, — в ту ночь, когда Кострицкая задумала меня убить посредством сломанной ванны. А наутро я заболел, должно быть, простудившись в корыте, и началось самое трудное время в моей жизни.

Я лежал полторы недели на своем жестком диване и чувствовал, как высыхаю. У меня не было сил сходить за водой на кухню. Мое тело, туго спеленутое в человекоподобный кулек, онемело и затекло. Засохшая кожа потрескалась. А я не мог приподняться и ослабить путы, острые, будто из проволоки.

Так прошло полторы недели, и никто ко мне не входил.

Я представлял себе, как после моей смерти обрадованные соседи позвонят в поликлинику. Приедет участковый врач констатировать летальный исход, наклонится над диваном, разрежет хирургическими ножницами одежды, бинты и ремни и отпрянет в ужасе от дивана, и велит поскорее доставить мой труп в самый лучший, в самый большой анатомический театр.

Вот она — банка со спиртом, жгучим, как духи Кострицкой! В ядовитую ванну, в стеклянный склеп, в историю, в назидание потомкам — на вечные времена — погружают меня — урода, наиглавнейшего урода Земли.

Тогда я застонал, сначала тихо, потом громче, ненавистным и неизбежным человеческим языком. «Мама, мама, мама», — стонал я, подражая интонации плачущего ребенка — в расчете пробудить жалость в том, кто бы меня услышал. И призывая на помощь в течение двух часов, я поклялся, если только выживу, сохранить до конца свою тайну и не дать в руки врагам на растерзание и глумление последний клочок моей родины — мое прекрасное тело.

Вошла Вероника. Она заметно похудела, и взгляд ее, очищенный от любви и обиды, был ясен и равнодушен.

— Воды! — прохрипел я.

— Если вы больны, — сказала Вероника, — вам надо раздеться и смерить температуру. Я вызову врача. Вам поставят банки.

Врач! Банка! Раздеться! Не хватало еще, чтобы она трогала мой лоб, прохладный, как комнатный воздух, и щупала раскатанными пальцами несуществующий пульс! Но, поправляя подушку, Вероника брезгливо отдернула руку, прикоснувшуюся ко моему парикю. Должно быть, мое тело возбуждало в ней, как в прочих людях, лишь одно отвращение.

— Воды! Христа-ради воды!

— Вам сырой или кипяченой?

Наконец она ушла и вернулась с графином. И протирая запыленный стакан с той задумчивой медлительностью, которую я принял бы за месть с ее стороны, если бы не знал, что она ничего не знает, Вероника сказала:

— Я ведь на самом деле любила вас, Андрей Казимирович. Мне понятно: это была любовь — как бы вам объяснить? — любовь из жалости... Жалость к одинокому искалеченному человеку, простите за откровенность. Но я пожалела вас настолько... не замечать... физические изъяны... Вы мне казались, Андрей Казимирович, самым красивым человеком на земле... самого... человека. И когда вы так жестоко посмеялись... Покончить с собой... Любила... не скрывая, скажу... достойный человек... Опять полюбила... А теперь даже благодарна... Полюбила... Человека... Человеческим... Человечность... как человек человеку...

Вероника наполнила стакан и вдруг поднесла его к самому моему рту. Мои вставные зубы стучали о стекло, но я не решался принять эту жидкость внутрь: меня поливать требуется, как цветок или яблоню — сверху, а не через рот.

— Пейте же, пейте! — настаивала Вероника. — Вы же просили воды...

Отбросил, рванулся и, чувствуя, что пропадаю, сел. Вода текла изо рта на диван. Мне удалось поймать несколько капель в подставленную сухую ладонь.

— Дайте графин и уходите, — приказал я со всей твердостью, на какую был способен. — Оставьте меня в покое! Я сам напьюсь.

Из глаз Вероники ползли длинные слезы.

— За что вы меня ненавидите? — спросила она. — Что я вам сделала? Вы сами не приняли моей любви, отказались от жалости... Вы просто злой, нехороший, вы очень плохой человек, Андрей Казимирович.

— Вероника! Если еще осталось у вас хоть несколько капель жалости, уйдите, прошу вас, умоляю, уйдите, оставьте меня одного.

Она вышла, согнувшись. Тогда я расстегнул рубашку и сунул графин за пазуху — горлышком вниз.

Бегогна и суматоха в природе. Все в нервозе. Торопливо лезут листья. Отрывисто поют воробьи. Дети спешат на экзамены в школы и в техникумы. Голоса няnek на дворе визгливы, истеричны. И воздух — с душком. Повсюду — в небольшой дозировке — растворен запах Кострицкой. Даже кактусы на подоконнике по утрам пахнут лимоном. Не забыть — перед отъездом кактусы подарить Веронике.

Боюсь, последняя болезнь меня доконала. Она не только сломала тело, но искалечила душу. Странные желания порой посещают меня. То тянет в кино. То хочется сыграть в шашки с мужем Вероники Григорьевны. Говорят, он отлично играет в шашки и шахматы.

Перечел свои записки и остался недоволен. Здесь в каждой фразе — влияние чужеродной среды. Кому нужна эта болтовня на местном диалекте? Не забыть и сжечь перед отъездом. Ведь людям я не собираюсь показывать. А наши все равно не прочтут и ничего обо мне не узнают. Наши и не залетят никогда в такую несусветную даль, в такую дичь.

Мне все труднее становится припоминать прошлое. От родного языка уцелело только несколько слов. Я даже думать разучился по-своему, а не только писать и говорить. Что-то прекрасное — помню, а что именно — сам не знаю.

Иногда мне кажется, что у меня на родине остались дети. Эдакие пышные кактусята. Не забыть отдать Веронике. Теперь они, должно быть, большевики. Вася ходит в школу. Почему в школу? Он — уже взрослый, солидный. Стал инженером. А Маша вышла замуж.

Господи! Господи! Я, кажется, становлюсь человеком!

Нет! Не для того я мучился тридцать два года, не для того страдал зимою без воды на жестком диване. Зачем было выздоравливать, если не с единственной целью: как станет тепло — укрыться в тихое место и умереть без скандала? Только так и можно сберечь, что еще осталось.

Все готово к отъезду: плацкартный билет до Иркутска, бидон для воды, изрядная сумма денег. Почти вся зимняя пенсия на сберкнижке хранится. Не тратился ни на шубу, ни на трамвай-троллейбусы. За все это время в кино не был ни разу.

А за квартиру бросил платить уже третий месяц. Всего — 1657 рублей.

Послезавтра, когда улягутся, уйду незаметно из дому — в такси — и на вокзал. А там ту-ту! и поминай, как звали. Леса, леса, зеленые, как тело матери, примут и укутуют меня.

Уж как-нибудь доберусь. Частично лодку нанять. Примерно 350 километров. А все по реке. Вода под боком. Хоть три раза в день обливайся.

Яма была. Разыщу. Мы яму пробили, когда упали. Обложить дровами. Можжевельник — что порох. Усядусь в яму, развяжусь, распояшусь и стану ждать. И чтоб ни одной человеческой мысли, ни одного слова на чужом наречии.

А как начнутся заморозки и пойму, что время пришло, — одной спички хватит. Ничего не останется.

Но до этого будет долго. Будет много теплых, много добрых ночей. И в летнем небе — много звезд. Какая из них? — неизвестно. Буду на все смотреть — вместе и поочередно — смотреть во все глаза. Какая-нибудь да моя.

— О Родина! ПХЕНЦ! ГОГРЫ ТУЖЕРОСКИП! Я иду к тебе. ГОГРЫ! ГОГРЫ! ГОГРЫ! ТУЖЕРОСКИП! ТУЖЕРОСКИП! БОНЖУР! ГУТЕНАБЕНД! ТУЖЕРОСКИП!

БУ-БУ-БУ!

МЯУ-МЯУ!

ПХЕНЦ!